

Интересно посмотреть, с точки зрения социальной стратификации, на состав Государственной думы и реформированного Государственного совета. В I Думе предприниматели составляли 3.2%, во II – 3.7, рабочие соответственно 4.6 и 5.6%. На крестьян в I Думе приходилось 30.2%, во II – 32.5%, крупных землевладельцев насчитывалось около 22% (помещиков-дворян во II Думе – 17.2%). Служащих и интеллигенции в I Думе было 33.9%, во II – 32.5. В III Государственной думе помещики составляли 38%, низшие слои (землепашцы) – 13, крупные и средние предприниматели – 5, рабочие – 2, средние слои – около 40%¹⁰. Если соотнести эти показатели с общей численностью соответствующих слоёв, окажется, что в результате избирательного закона, предоставлявшего различным категориям населения неравные права, больше всего, с точки зрения представительства своих интересов, проигрывали крестьяне, а выигрывали дворяне, к числу которых принадлежало большинство депутатов – крупных землевладельцев, интеллигенции и служащих. В Государственном совете с 1906 по 1917 г. потомственные дворяне составляли от 86.1 до 81.4%¹¹. Существенным было и влияние «Объединённого дворянства» на правительственную политику. Можно сделать вывод, что в результате революции дворянство превратилось из служилого в правящее сословие.

В историографии считается, что революция 1905–1907 гг. потерпела поражение. Возможно, это и так с точки зрения программ радикальных партий с их насильственными методами борьбы за власть и идеей революционного переустройства общества. Однако по многим вопросам достижения революции были существенными и способствовали быстрому развитию России.

¹⁰ Дёмин В.А., Соловьёв К.А. Государственная дума // Пётр Аркадьевич Столыпин. Энциклопедия. М., 2011. С. 125, 127, 129. Проценты по I и II Думам подсчитаны мною. – Н.И.

¹¹ Бородин А.П. Государственный совет России (1906–1917 гг.). Киров, 1999. С. 236.

Момент истины? Первая российская революция и крестьянский вопрос

Игорь Христофоров

The moment of truth? The first Russian revolution and the peasant issue
*Igor Khristoforov (National Research University Higher School of Economics,
Moscow, Russia;
Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences)*

Первую российскую революцию невозможно понять вне контекста аграрного вопроса, самого важного для России конца XIX и начала XX в. (по крайней мере, в социально-экономической сфере) – это положение кажется бесспорным.

© 2016 г. И.А. Христофоров

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016 г.

Между тем, если мы попробуем определить суть аграрного вопроса, понять, в чём именно он заключался и как его понимали современники революции и многочисленные поколения историков, то не только не обнаружим бесспорности, но напротив, погрузимся в разноголосицу противоречивых мнений.

Для одной традиции почти все проблемы русской деревни были связаны с крестьянским малоземельем, для другой – с архаичной и неподатливой на инновации общиной, для третьей они являлись лишь неизбежным аспектом развития капитализма (индустриализации, модернизации). Одни склонны винить в крестьянских проблемах помещиков, другие – государство, третьи – «инородцев», «ростовщиков» или более анонимный рынок, а четвёртые – самих крестьян (правда, опосредованно, через категории «менталитета» и «отсталости»). Что-то из перечисленного можно сочетать, что-то выглядит скорее взимоисключающе. Дошла до наших дней даже точка зрения, что никаких проблем у крестьян не было, а если эти проблемы где и существовали, то в головах либералов-интеллигентов, сбивавших крестьян с толку и отвлекавших их от работы на благо Отечества.

Важно подчеркнуть, что *все* упомянутые позиции сложились ещё до начала XX в. и с годами, не меняясь в основе, лишь обрастали статистической и прочей аргументацией. Издалека эту какофонию можно увидеть и как консенсус на почве «принципиальной важности аграрного вопроса для понимания русской революции». Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что такого консенсуса не было даже в советской историографии¹. Разумеется, его не может быть и сейчас, и интерпретации аграрного вопроса в современной исторической литературе могут стать великолепным материалом для изучения явной и латентной ангажированности историков. Я, впрочем, хочу остановиться не на ней. Разобраться в происхождении нынешних оценок невозможно, не обращаясь к тому, как именно российская общественная и бюрократическая элита осмысляла проблемы деревни накануне революции и что изменилось в её оценках после (и в результате) событий 1905–1906 гг.

В написанной более десяти лет назад коллективной работе о революции сценарий таких перемен, предложенный автором этих строк, выглядел следующим образом². К началу XX в. правительство и общество подошли с тяжёлым багажом патерналистских стереотипов и иллюзий о том, что чувствуют и чего желают крестьяне. Подавляющее большинство не только консерваторов, но и людей передовых, либеральных верило в некую базовую «неиспорченность» крестьян, в то, что именно они являются символом и залогом если не уникальности исторического пути России, то по крайней мере его глубоких отличий от других европейских стран. Чиновники и правые публицисты в этом смысле мало чем отличались от разного рода умеренных и радикальных народолюбцев. Те и другие, конечно, по разному истолковывали инстинкты крестьянской массы: первые уповали на стихийную лояльность крестьян самодержавию, а вторые – наоборот, на их столь же стихийную тягу к социальной справедливости. Однако в обоих случаях в образе мужика явно доминировали руссоистские черты.

¹ См.: Христофоров И.А. Экономическое развитие российской деревни в XIX веке: пора ли подводить историографические итоги? // Вестник истории, литературы, искусства, 2014. Т. IX. С. 47–64.

² Христофоров И.А. От самодержавия к думской монархии // Первая революция в России: взгляд через столетие / Под ред. А.П. Корелина, С.В. Тютюкина. М., 2005. С. 413–422.

В ходе революции все эти представления подверглись колоссальному испытанию. Аграрные беспорядки, а также голосование на первых и вторых думских выборах, где крестьяне явно предпочли левые партии правым, похоронили миф о них как об опоре трона. Давно, но очень вяло обсуждавшийся в верхах пересмотр традиционалистского аграрного курса был резко ускорен, вылившись в столыпинскую аграрную реформу. В свою очередь, левые партии, прежде всего социалисты-революционеры, столкнулись с неожиданными для них динамикой и содержанием крестьянских протестов, которые быстро пошли на спад, обнажив политическую инертность крестьянской массы и неподатливость её на партийные лозунги. Крестьян действительно не устраивал существовавший порядок, но, как полагали сами эсеры, «сколько-нибудь солидных данных, что при стихийном движении вопрос решится в духе программы нашей партии, у нас нет»³. Впрочем, у других крупных левых партий – социал-демократов и кадетов – программы по аграрному вопросу, в сущности, не оказалось вообще. Марксистов и либералов в принципе должно было бы объединять скептическое отношение к мифу об особом крестьянском мировоззрении и правосознании и к перспективе что-либо построить на их основе. Однако такой скепсис, может быть, присутствовал в умах многих из них, но не в речах: отталкивать потенциального союзника и избирателя не хотелось, предложить же крестьянам те и другие могли лишь модифицированную народническую программу.

Из сказанного можно сделать вывод, что бюрократическая элита в лице П.А. Столыпина, его сторонников и сотрудников расставалась с прежними иллюзиями гораздо быстрее, чем «общественники», и была на этом пути более последовательна. Получается, что правительство в очередной раз оказалось «первым европейцем» в стране.

Сейчас, по прошествии десятилетия, мне хотелось бы добавить в эту картину несколько важных акцентов. Прежде всего, на мой взгляд, «отрезвление» элиты по поводу перспектив патерналистского курса оказалось явно запоздавшим и очень условным. К началу XX в. «верхи» в значительной степени утратили чувство реальности и ориентиры в аграрной сфере. Чтобы осознать всю меру неадекватности восприятия бюрократией социально-экономических процессов в крестьянской среде, достаточно процитировать одну из бюрократических записок конца 1890-х гг. Круговая порука, типичный фискально-полицейский институт, оценивалась в ней ни более ни менее как «залог правильного развития взаимопомощи среди крестьян». «Отмена круговой поруки, – говорилось в записке, – убьёт эти задатки, и в большинстве местностей общинного землевладения со слабо развитыми промыслами и с крайне низким уровнем достатка крестьяне, отвечая каждый за себя, могут быстро стать жертвами ростовщиков»⁴. Кабальная зависимость от казны и общины выдавалась тем самым за средство избежать зависимости от рынка. Каким образом элементы патерналистского мифа склеивались в сознании чиновников, рождая такие абсурдные картины, сказать сложно. Отметим однако, что параллельно такому риторическому превознесению круговой поруки чуть ли не как основы национальной экономической модели, достаточно рутинным порядком шло многолетнее обсуждение её отмены, в конце концов, как известно, увенчавшееся накануне революции успехом.

³ Из выступления О.С. Минора на I съезде ПСР в декабре 1905 – январе 1906 г. Цит. по: *Леонов М.И.* Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. М., 1997. С. 235.

⁴ Цит. по: *Симонова М.С.* Отмена круговой поруки // Исторические записки. Т. 83. М., 1969. С. 179.

В целом же Министерство внутренних дел и Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности – два ведомства, которые занимались разработкой нового аграрного курса, – хотя и медленно, но всё же нащупывали пути выхода из заколдованного круга патерналистских фантазий и страхов. «Вообще в этом вопросе не только бюрократия, но и общественность проявляли какую-то странную робость, – писал в воспоминаниях глава Земского отдела МВД В.И. Гурко, один из наиболее деятельных сторонников новой политики в деревне. – Земельная община представлялась каким-то фетишем, и притом настолько свойственной русскому народному духу формой землепользования, что о её упразднении едва ли даже можно мечтать»⁵. Ничего странного в этой «робости», конечно, не было. За шесть десятилетий, прошедших с «открытия» общины – «олицетворения русской уникальности» – А. фон Гакстгаузен, А.И. Герценом и славянофилами, она стала настолько важным компонентом разнообразных националистических, бюрократических и социалистических утопий, что его изъятие способно было обрушить их как карточный домик.

Но всё же строй крестьянской жизни был укоренён не только в воображении представителей элиты, но и в реальности. Я имею в виду, разумеется, не мифическую вековую склонность крестьян к эгалитаризму и коллективной собственности, а институциональную и социальную реальность, сложившуюся в результате отмены крепостного права и последующих законодательных, судебных и административных наслоений на реформу 1861 г. В российской деревне не существовало той общины, какой она виделась утопистам, зато налицо была фантастическая мешанина фискальных, полицейских, поземельных, трудовых, правовых и культурных практик и институтов разного возраста и степени прочности. Упомяну лишь некоторые из них: крестьянский самосуд (сельский и волостной) на основе обычного права; волость как сословная и при этом административно-полицейская единица; размежевание наделных и частновладельческих земель, которое велось то по обычаю, то по закону, а то вообще никак; мирская и волостная раскладка налогов и сборов; система бюрократического надзора над крестьянским сословием (с 1889 г. в виде земских начальников).

Ни один из перечисленных институтов не имел прямого отношения к общине как системе землепользования. Однако любая попытка что-то сделать с общиной автоматически требовала перестройки их всех. Тот же Гурко прекрасно это понимал и не случайно утверждал, например, что «оставлять волостной суд в том хаотическом состоянии, в котором он находился до самой революции, было крупной государственной ошибкой, немало способствовавшей извращению у крестьян самих понятий о праве собственности и принимаемых ими на себя обязательств»⁶. Почему же за пределами землеустройства реформаторам удалось сделать так немного? Вместе с волостным судом никуда не делась ни сама сословная крестьянская волость, ни, разумеется, земские начальники. Таким образом, практически не затронув обычное право и сословную администрацию – два столпа, поддерживавших обособленность крестьян, столыпинская реформа фактически повисала в воздухе, лишалась правового и административного фундамента.

⁵ Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 396.

⁶ Там же. С. 219.

Историки обычно объясняют такую ограниченность политическими причинами – давлением правых, слабостью парламентской и общественной поддержки начинаний Столыпина, межведомственной борьбой. Всё это справедливо, но сами указанные причины свидетельствуют о том, что ни бюрократические, ни общественные круги не расстались со своими установками, а лишь подлатали их и подкрасили. Мифологизированные крестьяне по-прежнему считались залогом будущего, своего рода социальной гарантией сохранения (или разрушения) режима. И по-прежнему аграрный вопрос сводился к вопросу о земле, которая воспринималась прежде всего как социальный и политический ресурс.

Несмотря на наличие колоссальной литературы о столыпинской аграрной реформе, до сих пор не проведён систематический анализ риторики и образов, которые реформаторы использовали, говоря о реальных и идеальных крестьянах. Лишь Я. Коцонис обратил недавно внимание на то, что индивидуализм и частная собственность не фигурировали в числе ценностей, отстаивавшихся Столыпиным⁷. Его язык был очень далёк от либерализма, как бы широко ни понимался последний. Более того, в формуле «крестьянин-собственник – условие мощи и величия государства», в сущности, не было ничего нового. В конце концов, согласно Положениям 19 февраля 1861 г., крестьяне именовались собственниками уже с момента перехода на выкуп. И пусть после 1906 г. этот статус стал чуть менее фиктивным, чем после отмены крепостного права, гражданское равноправие крестьяне всё же не получили. Метод власти заключался в том, чтобы, используя землю как приманку, прививать им собственнические инстинкты, метод противников власти – в том, чтобы с помощью аналогичной, но гораздо более жирной приманки прививать им инстинкты противоположные. Неудивительно, что у вторых в итоге получилось лучше. Удивительно, что ни власть, ни её противники так и не смогли выйти за пределы дрессировочных методов.

Исчерпывающее объяснение столь печальному факту российской истории дать непросто. На мой взгляд, самого пристального внимания в этом контексте заслуживает период 1904–1905 гг. По мнению Д. Мэйси, ещё на рубеже веков в среде молодого поколения столичной бюрократии произошла своеобразная «революция в сознании», в результате которой сложилось новое восприятие крестьян и их проблем⁸. В то время как российские историки склонны подчёркивать глубокие различия, даже пропасть, между аграрными программами В.К. Плеве и С.Ю. Витте⁹, Мэйси, наоборот, писал о том, что различные идеологические клише, к которым те прибегали, были лишь подобием вуали, скрывавшей вызревание нового подхода к крестьянам. По мнению историка, в основных чертах программа Столыпина оформилась уже в 1902–1904 гг. в ходе взаимодействия МВД и Особого совещания Витте. Оба органа, по Мэйси, умело направлялись своими реальными руководителями (В.И. Гурко и А.А. Риттихом) к уже оформившейся в их сознании цели – индивидуализации крестьянского землепользования.

⁷ Kotsonis Y. The Problem of the Individual in the Stolypin Reforms // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2011. Vol. 12. № 1. P. 25–52. Иной, классический, взгляд на столыпинскую реформу см., например, в статье: Шелохаев В.В. Столыпинский тип модернизации России // *Исторический журнал: научные исследования*. 2012. № 3. С. 34–41.

⁸ Macey D.A.J. Government and Peasant in Russia, 1861–1906: The Prehistory of the Stolypin Reforms. DeKalb, 1987.

⁹ См.: Симонова М.С. Кризис аграрной политики царизма накануне Первой российской революции. М., 1987.

Думается, Мэйси сильно переоценил глубину произошедшей «революции». «Новый» взгляд на будущее деревни на самом деле не содержал никаких положений, неизвестных российской общественной мысли по крайней мере с начала XIX в. В общем виде идея о необходимости превращения крестьян в собственников выглядела как банальность даже в застойные времена правления Александра III. Некоторой новостью была скорее мысль, что путь к достижению этой цели лежит через масштабную, беспрецедентную в России интервенцию государства в жизнь крестьян. Однако понимание характера и путей такой интервенции (прежде всего – группового землеустройства) оформилось далеко не сразу, уже после начала реформы, тогда как в 1904–1905 гг. было ещё не ясно, с чего именно начинать и как добиваться перемен – и в политическом, и в техническом отношении.

Сложившаяся ситуация в чём-то была похожа на 1850-е гг.: мы знаем, что к началу эпохи Великих реформ у части бюрократической и общественной элиты сложилось убеждение в том, что отмена крепостного права – необходимое условие выживания и развития страны. Существовало и представление о том, что крестьян нужно освободить с землёй. Всё остальное расплывалось в тумане. Конкретная программа эпохального преобразования оформилась в Редакционных комиссиях лишь в 1859–1860 гг. При этом позже оказалось, что судьба реформы, т.е. то, как она будет развиваться и к чему приведёт, зависела не столько от её декларативных целей, сколько от правовых, технических и административных нюансов, на которые общественное мнение рубежа 1850–1860-х гг. обращало очень незначительное внимание¹⁰.

Но декларативные цели всё же имели огромное значение. Стремясь одержать верх в жёсткой борьбе с политическими противниками, реформаторы монументализировали эти цели, увязали их со стабильностью и даже самим существованием российской государственности, с социальным миром и сильной властью как гарантом всего перечисленного. (Ещё раз подчеркну, что дальше этого Столыпин, в сущности, не ушёл. Правительство после 1905 г. лишь отказалось от поддержки общины как инструмента, однако цели остались неизменными.)

Политически реформаторы 1850–1860-х гг. выиграли: отмена крепостного права навсегда осталась символом социального компромисса и преобразовательного потенциала самодержавной власти. Но победа была достигнута слишком высокой ценой: сам статус символа надолго исключил возможность трезвой, технократической оценки происходящего в деревне. Всякая попытка двинуться в сторону развития здесь правовых и административных институтов наталкивалась (помимо прочего) на призраки распада опоры трона (патриархального крестьянства), появления пролетариата, обнищания масс и социальной революции. Хорошо известно, чем всё закончилось: как будто по закону самоосуществляющегося пророчества, эти страхи стали реальностью.

Итак, политизация целей крестьянской реформы 1861 г. роковым образом сказалась на её судьбе. Но сценарий развития столыпинской реформы был схожим. Революция резко ускорила процесс её подготовки и реализации, но право вновь было принесено в жертву политике. В спорах о том, была реформа успешной или провальной, историки, кажется, не всегда учитывают, что сама она имела шансы стать иной. Альтернативные варианты преобразований в де-

¹⁰ См.: *Христофоров И.А.* Судьба реформы: русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М., 2011.

ревне и их возможные последствия изучены явно недостаточно. Ясно однако, что в накалённой революцией обстановке политические приоритеты неизбежно должны были стать главными и для власти, и для её противников. Так что если революция и стала, по выражению Т. Шанина, «моментом истины», то это была истина войны, а не мира.

Россия 1905–1907 гг.: в поисках новых граней осмысления

Валерий Журавлёв

Russia in 1905–1907: looking for the new aspects of research
Valeriy Zhuravlev (Moscow Region State University, Russia)

Как-то во время одной из дискуссий выдающийся историк Константин Николаевич Тарновский мимоходом дал классическое, на мой взгляд, определение социальной значимости исторического знания: «История – это непрерывный диалог настоящего с прошлым». Действительно, когда меняется настоящее, то появляются и новые социальные, и новые исследовательские запросы, обращённые к прошлому. Нашего современника, человека XXI в., уже не способен убедить лежавший в основе советской идеологии тезис о том, что «революции – это праздники истории». Появляется даже противоположное стремление – возродить точку зрения более чем вековой давности, отождествлявшую революцию со Смутой – в её определении на примере событий в России конца XVI – начала XVII в. С.М. Соловьёв увидел «болезнь государственного организма, в котором скопилось много дурных соков».

Хотя в любой революции неизбежно присутствуют элементы и смуты, и своеобразного праздника, вдумчивый историк не станет солидаризироваться ни с первым, ни со вторым её истолкованием. В то же время революции неизбежно осмыслились и будут осмысливаться в контексте российского модернизационного процесса. Такое понимание легло в основу концепции энциклопедии «Россия 1905–1907 годов», выход которой в свет ожидается в этом году. В массовом же сознании за периодом 1905–1907 гг. закрепился вполне определённый образ революции, наполненный ярким эмоциональным и образным содержанием, в чём немаловажную роль сыграли произведения искусства, в частности гениальный фильм С.М. Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”». Унаследовала этот образ и современная нам эпоха.

В итоге потрясшие страну события «Кровавого воскресенья» и баррикады Красной Пресни невольно отодвинули на второй и даже на третий план судьбоносные для страны процессы в различных областях её экономической, социальной, политической, культурной и духовной жизни. Между тем сегодня всё более очевидным становится тот факт, что революционные события при их огромной значимости для последующих судеб страны далеко не исчерпывают